**С Е Р Г Е Й М О Г И Л Е В Ц Е В**

**В Ч Е Р А, С Е Г О Д Н Я, З А В Т Р А**

***монопьеса***

Мне было четырнадцать лет, и мать послала меня в молочную лавку. Лавка находилась за пределами нашего обширного двора на длинной и узкой улочке, где не было ничего, кроме выбоин и пары чахлых, изнывающих от жары, кипарисов. В четырнадцать лет ходить за молоком в молочную лавку на глазах всего двора было делом постыдным, но дома оставаться я тоже не мог, поскольку мать с отцом с утра ссорились, и слушать их перебранку, временами сопровождающуюся дикими воплями и звоном оплеух, у меня не было сил. Ссора между родителями, как всегда в последнее время, возникла на почве клопов. Никто не знал, откуда появились клопы в нашем доме, возможно, от прошлых жильцов этого длинного двухэтажного барака, но вывести их отсюда не было никакой возможности. Лично мне клопы вообще не докучали, и, если честно, я их даже ни разу не видел. Возможно, они были плодом воображения матери, которая каждое утро жаловалась отцу, что они ее искусали от головы и до пят, и что если с клопами не будет покончено, то будет покончено с ней. После этого, обвязав голову полотенцем, мать укладывалась на диван, и строго - настрого приказывала не шуметь, а также отгонять от окон дворовых детей, которые своими играми и громкими криками сводили ее с ума.

- Ты такой же бесчувственный, как и твой отец, - говорила она мне, - вы двое специально доводите меня до припадка. Немедленно иди на улицу, и отгоняй от наших окон своих дворовых друзей, у которых совсем нет уважения к старшим!

После этих слов мне не оставалось ничего другого, как спускаться с нашего второго этажа по скрипучей деревянной лестнице на улицу, и шепотом, постоянно оглядываясь на окно комнаты, в которой на диване лежала мать, просить их вести себя тише. Авторитет мой во дворе был довольно высок, и на время крики под нашими окнами действительно замолкали, но через какое-то время все начиналось сначала. Мать, которая во время небольшой передышки забывалась недолгим сном, просыпалась, вскакивала на ноги, бежала к окну, и кричала на весь двор, что здесь живут невоспитанные люди, которые не могут привить их детям элементарного уважения к старшим, и поэтому достойны самого сурового наказания. После этого она с досадой срывала с головы полотенце, мочила виски уксусом, и начинала свои бесконечные объяснения с отцом. Предметом этих объяснений, разумеется, были клопы. Я же после этого попеременно то краснел, то бледнел, испытывая жгучий стыд перед своими дворовыми приятелями, и начинал с кем-нибудь драку, исход которой был мне безразличен. Потом я уходил за пределы двора, садился на холме под одиноким, обдуваемым всеми ветрами юга кипарисом, и начинал мечтать о том времени, когда я навсегда отсюда уйду. Желание убежать из дома и из этого давно осточертевшего мне двора было так сильно, что я только лишь большим усилием воли сдерживал себя.

Между тем мать, искусанная мифическими клопами, продолжала терроризировать двор своими истошными криками. Она ходила по квартире с головой, обмотанной все тем же полотенцем, время от времени выглядывала из окна, и кричала собравшимся внизу детям, что они все дурно воспитаны, поскольку не могут вести себя тихо, когда у нее болит голова. Дворовые дети, разумеется, после этого кричали еще громче, и мать, не в силах выносить такого неуважения, бросалась на диван, и начинала рыдать, доводя отца до состояния тихого помешательства. Он не мог, как я, уйти из дома, и, взобравшись на ближайший холм, по другую сторону которого лежало море, сидеть под одиноким, повидавшим все кипарисом, и размышлять о бренности жизни. Поэтому отец был вынужден искать зловредных клопов везде, где только можно, и эти поиски стали для него чем-то вроде сверхзадачи, решив которую, он смог бы спасти и мать, и меня, и весь наш двор. Он отдирал от стен куски штукатурки, под которой оказывалась пожелтевшая от времени деревянная дранка, и жег ее большим самодельным факелом, рискуя вообще поджечь весь наш барак. Он мазал керосином решетки больших железных кроватей, на которых мы спали, но в результате всего лишь провоняла вся наша квартира, так что ее долго потом приходилось проветривать. Зловредные клопы продолжали искусно прятаться, а мать, искусанная ими, продолжала терроризировать и нас, и весь двор.

- Ты ни на что не способен, - выговаривала она отцу, - и не можешь защитить от клопов

ни себя, ни жену, ни своих несчастных детей! Если бы я знала это заранее, я бы вышла замуж не за тебя, а за директора хлебозавода, который несколько лет дарил мне цветы и конфеты с пирожными, а в итоге женился на соседской гусыне. Которая даже не смогла родить ему приличных детей!

Говоря о своих детях, мать имела в виду меня и мою младшую сестру, которую клопы, разумеется, тоже не трогали. Возможно потому, что у нее было мало крови.

- Во всех вас слишком мало крови, - объясняла нам мать такую избирательность зловредных клопов. – Вы им неинтересны из-за своей худосочности. Они кусают только меня, потому что я полнокровная, и наполнена жизнью. Но имейте в виду, что мои жизненные силы не бесконечны, и в одно прекрасное утро я умру, высосанная до дна этими зловредными насекомыми!

Говоря о директоре хлебозавода, который, кстати, жил в нашем дворе, и его гусыне - жене, мать имела в виду вот что. В отличие от нашей семьи, у богатого директора хлебозавода была всего лишь она дочь по имени Доротея. Непонятно, было ли это ее подлинное имя, или вымышленное, и кто вообще в этом виновен? Мать уверяла, что всему виной уже упоминавшаяся гусыня, которая и раньше - то была с приветом, а теперь, женившись на богатом и обеспеченном директоре, совсем потеряла голову от своей вседозволенности. Молчаливый поединок матери и живущей в точно таком же бараке, как наш, директорши, начался еще до моего рождения, и благополучно продолжался до настоящего времени. Малообеспеченный отец, который был всего лишь врачом в местной захудалой больнице, ни в молодости, ни сейчас не мог дарить матери каждый день пирожные и конфеты. Он лишь с трудом обеспечивал свою семью, измученный, к тому же, историей с поиском клопов. Жена же директора хлебозавода как начала в молодости питаться пирожными и конфетами, так и продолжала с успехом делать это все последующие годы, родив своему мужу единственную дочку, назвав ее Доротеей. Доротея была болезненной золотушной девочкой, на которую без жалости нельзя было смотреть, и которую во дворе терпели только лишь потому, что она совершенно бескорыстно снабжала всех пирожными и конфетами. Из-за этих «Красного мака» и «Мишки на Севере» дворовые ребята были готовы терпеть и золотушность Доротеи, и ее неестественную молчаливость, граничащую с небольшим помешательством, и даже ее беспомощную улыбку, за которую всякую другую девочку довели бы до слез, приклеив ей обидное прозвище. Как бы то ни было, золотушная Доротея стала полноправным членом нашей дворовой компании, как, впрочем, и мать, и отец, и директор хлебозавода, живущий в соседнем с нами бараке, и все мы, заброшенные в этом маленьком южном городке на краю большой и прекрасной страны. Страны, которая строила танки, перекрывала плотинами реки, запускала к небу ракеты, а справиться с таким зловредным явлением, как клопы, не могла. Впрочем, во всяком большом и прекрасном деле есть свои недостатки, и, как нас учили в школе, надо всего лишь крепко сжать зубы и настойчиво двигаться вперед.

Героическая война с клопами, которую вел отец, а также припадки матери, были предметом самого пристального внимания обитателей нашего двора. Не помню уже, кто первым высказал идею, что разносчиками клопов могут быть ласточки, лепившие свои гнезда под крышей всех трех бараков, стоящих в нашем дворе. Мать сразу же ухватилась за эту идею, и строго-настрого приказала отцу избавиться от всех ласточкиных гнезд, которые находились над нашими окнами. Отец выполнил приказание матери, и, рискуя сорваться вниз со второго этажа, сбил палкой все гнезда, до которых только смог дотянуться. Было начало лета, и ласточки как раз вывели первых птенцов, которые лежали теперь внизу на земле мертвые, на радость дворовым кошкам, устроившим себе настоящий пир. Убитые горем ласточки с пронзительными криками летали над своим мертвым потомством, на лету норовя больно ударить клювами ленивых и сытых кошек. Я глядел из окна на этот пир одних божьих тварей и на крушение всех жизненных надежд других, и плакал с досады, жалея бедных ласточек, с которыми давно уже подружился, и даже частенько кормил их хлебными крошками, которые они брали прямо из моих рук. Разумеется, никаких клопов в ласточкиных гнездах не было и в помине, и все это безумие было организовано совершенно напрасно. Внезапно под нашими окнами появилась золотушная Доротея, отогнала пинками обожравшихся наглых дворовых кошек, и, собрав нескольких оставшихся мертвых птенцов, понесла их в конец двора хоронить. Она частенько хоронила разных мертвых зверушек и птиц, которых находила в округе, и это еще больше укрепляло нас в мнении, что она ненормальная. Но конфеты «Мишка на Севере», «Белочка» и Кара - Кум» затыкали наши ехидные и злые рты, и мы продолжали делать вид, что она нам ровня, хотя, конечно же, это было не так. В конце двора, около забора, у Доротеи было собственное, огороженное мелкими камушками кладбище, на котором она и похоронила несчастных мертвых птенцов. Мы молча стояли сзади, наблюдая, как эта некрасивая золотушная девочка своими худыми скрюченными руками, похожими на птичьи лапки, кладет в маленькие ямки несчастных мертвых птичек, а потом тщательно засыпает эти ямки землей. Некоторые из нас при этом плакали, а Синяк, постоянный член нашей дворовой команды, неожиданно свирепо всех оглядел, и заявил:

- Кто тронет Доротею, будет иметь дело со мной. Теперь мы с ней жених и невеста, и

поженимся сразу, как ей исполнится четырнадцать лет!

Синяку никто не посмел возражать, поскольку ему уже было шестнадцать, и, как говорили между собой мои родители – врачи, больше, чем еще один год, этот мальчик вряд ли протянет. Синяк был весь синий, как будто специально вымазанный синькой, а губы у него были вообще черные, и через них он каждую секунду с трудом вдыхал воздух нашего благословенного двора. Воздух этот был наполнен медовыми запахами пчел, шмелей, бабочек, зеленой травы, и растущих на клумбах цветов. Мать, которая работала детским врачом, со знанием дела говорила, что у Синяка редкое наследственное заболевание, что его организм не может усваивать кислород, и что это еще чудо, что он протянул так долго. Тем не менее, со свирепым и отчаянным Синяком, которому было нечего терять, никто не хотел связываться, и все после этого стали считать его и Доротею женихом и невестой. Похоронив мертвых ласточкиных птенцов, Доротея сразу же повеселела, как будто выполнила большую и необходимую обществу работу, пошла домой, и вынесла оттуда огромный кулек с конфетами, устроив таким образом своеобразные поминки по убиенным отцом ласточкиным птенцам.

- Быть ей, когда вырастет, директором местного кладбища – сказала глядевшая из окна на похороны птенцов и последовавшие за этим поминки, мать, поправляя рукой обмотанное вокруг головы полотенце. – Жаль, что она такая золотушная и некрасивая, была бы хорошая пара для нашего Генерала!

Отец в этот день впервые в жизни ее ударил, а потом сильно напился, и сидел на

крыльце, обхватив голову руками, и раскачиваясь из стороны в сторону. У ног его лежала наша беспородная собачка Дружок, и облаивала каждого, кто проходил мимо крыльца. Удивительно, но клопы после этого перестали кусать мать, и было непонятно, то ли этому действительно способствовали разоренные ласточкины гнезда, то ли просто в природе что-то сместилось, и невидимый маховик мироздания стал крутиться в другую сторону.

- Генерал, сходи в лавку за молоком, - сказала мне утром мать

- А почему сестра не может пойти? – спросил я у нее.

- Твоей сестре всего лишь семь лет, - ответила мне мать, обмотанная, как всегда по утрам, большим цветным полотенцем, похожим на восточный тюрбан из кинофильма «Багдадский вор». – Ты же знаешь, что мы с отцом запретили ей выходить за пределы двора. Тебе ведь хорошо известно, что может случиться с девочками за пределами этого двора!

Мать имела в виду, что за пределами нашего двора девочку могли запросто изнасиловать хулиганы. И это не было простой выдумкой, поскольку то одна, то другая девочка в городе неожиданно заявляла, что ее изнасиловали. Так это, или не так, было трудно сказать, но такой девочке полагался месячный отпуск, во время которого она не ходила в школу, и могла делать все, что ей хочется. Кроме этого, такой девочке полагалось усиленное питании, и несколько плиток бесплатного шоколада. Из-за этого шоколада, а также из-за возможности прогуливать уроки город охватила целая эпидемия изнасилований, и не было ни одной девочки, которая бы в одно прекрасное утро не заявила, что подверглась нападению коварных и неуловимых насильников. Поскольку дальше так продолжаться не могло, ибо занятия в школах пропускались повсеместно, а запасы шоколада давно истощились, было решено никаких льгот обиженным девушкам не предоставлять. Все они теперь должны были посещать школу наравне с другими учениками, а вместо шоколада довольствоваться повидлом и вареньем домашнего приготовления. После этого эпидемия изнасилований сразу же прекратилась, и уже редко кто из девочек заявлял, что ее лишили невинности. Тем не менее, родители запретили моей младшей сестре выходить за пределы двора, и в лавочку за молоком, творогом и сметаной был вынужден ходить я. Вообще-то молоко можно было купить и в обычном магазине, но в частной лавочке оно было дешевле, и, кроме того, процент жирности в нем был гораздо выше.

- Процент жирности в молоке необыкновенно важен для здоровья ребенка, -торжественно изрекала мать, работающая, как уже говорилось, детским врачом, вручая мне деньги и трехлитровый бидон для молока. – На обезжиренном молоке дети растут гораздо медленней, у них искривляются кости и зубы, и они страдают рахитом.

- У нашей Доротеи отец директор хлебозавода, - возразил матери отец, - и она пьет исключительно молоко повышенной жирности, но, тем не менее, такая золотушная, что на нее невозможно смотреть!

- Вечно ты возражаешь мне, - отвечала ему мать, выпроваживая меня за дверь, - не можешь хотя бы один раз сказать, что согласен со мной. Ты что, хочешь, чтобы у меня опять разыгрались нервы, и мне снова пришлось пить успокоительное?

Впрочем, обычные разборки отца и матери меня мало тревожили, для меня важно было совсем другое. Мое нежелание идти в молочную лавочку, находящуюся, кстати, совсем рядом с нашим двором, заключалось в молочнице, которая там работала. Она была дочерью тех людей, которые держали коров, и продавали молоко повышенной жирности гораздо дешевле, чем это делали в государственных магазинах. Мне было плевать и на молоко, и на манную кашу, которую из него готовила мать, и которую я принципиально не ел, но мне было не плевать на молочницу. Она была уже довольно старая, то есть ей было не меньше двадцати лет, и такая красивая, что при виде ее у меня просто захватывало дух. Впрочем, как говорил Синяк, все блондинки красивые, и коварно пользуются этим для соблазнения неопытных юнцов, вроде меня. Главное, это не поддаваться на их уловки и хитрости, и вести себя, как настоящий мужчина, который пришел в молочную лавку за молоком и куском хозяйственного мыла. Говорить при этом необходимо басом, коварно улыбаться, и, разбрасывая мелочь по прилавку, небрежно упомянуть, что сдачи тебе не надо. Синяку было легко говорить, ему уже исполнилось шестнадцать, а мне было всего лишь четырнадцать, и кроме сестры и золотушной Доротеи я не был знаком с другими женщинами, и не знал, как вести себя в их присутствии. Выйдя за калитку нашего двора, я завернул за угол, и по длинной и узкой улочке, обсаженной высокими, похожими на свечи кипарисами, дошел до молочной лавочки. К моему ужасу, очереди возле нее не было, и, следовательно, я невольно оказывался один на один с прекрасной молочницей, которая могла теперь делать со мной все, что захочет. То есть могла или сожрать живьем, запив стаканом молока повышенной жирности, а могла и оставить в живых. Я было хотел повернуть назад и позорно ретироваться, но в этот самый момент над прилавком показалась голова прекрасной блондинки, и на всю улочку прозвучал ее хриплый и довольно грубоватый голос:

- Заходи, Генерал, я как раз собралась уходить, поможешь мне вынести на улицу бидоны с остатками молока!

Делать было нечего, я вздохнул полной грудью, зажмурил глаза, потом открыл их, и на негнущихся ногах сделал несколько шагов вперед. Прекрасная молочница, одетая в белый, расстегнутый на груди халат, высовывалась из окошка, опираясь локтями на прилавок, отчего ее большие белые груди так сильно выпирали вперед, что были готовы вот-вот выпасть наружу. Эти похожие на две спелые дыни груди были так белы, так огромны и наполнены такой магнетической силой, что я ни на что, кроме них, смотреть больше не мог. Коварная соблазнительница все это, разумеется, понимала, и еще больше высовывалась вперед из своей старой лавочки, грозя вообще вывалиться наружу.

- Здравствуй, Генерал, - сказала она, принимая у меня из рук облупленный молочный бидон, - тебе как обычно, три литра?

- Да, - отвечал я, лязгая от страха зубами, по-прежнему не отрывая глаз от огромных белых грудей, которые теперь были совсем близко от меня, так что при желании я мог прижаться к ним всем лицом. – Мать попросила молока повышенной жирности, и чтобы не было разбавлено водой.

- У нас все молоко повышенной жирности, - ответила молочница, скрываясь в лавочке вместе с моим бидоном. – У нас собственное стадо коров, и нам незачем разбавлять молоко водой. Мы каждое утро надаиваем так много молока, что оно даже не помещается в наши бидоны, и его приходится выливать на землю. Скажи, ты умеешь доить коров?

- Я умею стрелять из рогатки, - ответил я, сам не понимая, зачем говорю об этом, - а еще разорять птичьи гнезда.

- Доить коров совсем не трудно, - ответила мне улыбающаяся молочница, наполнив молоком мой скромный бидон, и поставив его на старый, покрытый трещинами прилавок. – Зайди сзади в лавочку, если поможешь вынести наружу пустые бидоны, я не возьму с тебя деньги.

Вот это и было самое страшное, о чем предупреждал всех нас Синяк, клятвенно заверивший, что прекрасная молочница предлагала ему стать его женой. Рассказывал он это с такими подробностями, которые невозможно было выдумать, и которые можно было узнать исключительно на основе личного опыта. Терять мне было нечего, я знал, что погиб окончательно и бесповоротно, и что если молочница предложит мне стать ее мужем, я не стану отказываться. Не помню, сделал я глубокий вдох пред тем, как обогнуть сбоку лавочку, и войти через дверь внутрь, или не сделал, поскольку это уже ничего не решало. Перед смертью, как известно, не надышешься, и конец все равно будет один. Поэтому я зашел в полутемное и тесное помещение молочной лавочки, и, разумеется, сразу же уткнулся лицом в огромные белые груди молочницы. Груди эти были настолько огромны, что вмещали в себя весь мир со всеми его чудесами, и были гораздо более чудесными всех этих банальных и пошлых чудес. Они были гораздо чудесней Форосского маяка, Ниагарского водопада, Пизанской башни, Большого американского каньона и Критского лабиринта вместе взятых. Они излучали такой волшебный и чарующий аромат, что по сравнению с ними знаменитые духи «Красная Москва» были всего лишь неудачной попыткой изобрести обычную микстуру от кашля. Я погрузился в таинственную глубину этих белых, принадлежавших исключительно мне грудей, хорошо понимая, что погиб. Что отныне я становлюсь мужем молочницы, и буду торговать с ней вместе в этой старой, стоящей здесь уже не меньше ста лет лавочке. Что мне не нужны теперь ни отец, ни мать, что я оставлю их без всякого сожаления, и уйду рука об руку с прекрасной молочницей на зеленые свежие пастбища, по которым бродят стада тучных коров, а под сенью свежей листвы на небрежно раскинутом ковре сидят двое: я и она. Сидят, и, держась за руки, не отрываясь, глядят друг другу в глаза. Что я непременно убью Синяка, независимо от того, правду ли он говорил о молочнице, или нет. И что вообще мир теперь изменился, полюса поменялись местами, люди превратились в ангелов, боги сошли на землю, и то, что было вчера, сегодня уже никогда не вернется. А завтра все будет еще более прекраснее и чудесней, и солнце над землей не зайдет уже никогда.

- Ну что ты, миленький, - шептала мне в ухо приглушенным грубоватым голосом прекрасная молочница, - ну перестань, ну не надо, ну хочешь, я полажу тебя по голове?

Она действительно погладила меня по голове своей красной, обветренной, и натруженной ежедневной работой рукой, отчего слезы из моих глаз потекли еще сильнее. Потом она обняла меня, прижав к себе так сильно, что я чуть не задохнулся от этого, мгновенно ощутив ее всю, со всей ее размеренной ежедневной жизнью. В которой надо было вставать еще затемно, доить коров, нагружать в кузов машины пятидесятилитровые бидоны с молоком, и до обеда торговать в старой полуразвалившейся лавочке, заранее зная, что завтра тебя ждет то же самое. Я ощутил ее всю, как мужчина ощущает женщину, впервые познав ее. Я познал ее, всего лишь утонув всем лицом в ее огромных белых грудях, источавших запах мускуса и таких изысканных благовоний, перед которыми духи всех иных женщин, которые в будущем пройдут через мою жизнь, были ничто. За какие-то несколько мгновений, перевернувших с ног на голову всю мою жизнь, я из мальчика превратился в мужчину, и знал, что с прошлой жизнью покончено уже навсегда. К чести моей возлюбленной, имени которой я так и не успел узнать, она не заставила меня выносить из лавочки пустые бидоны, а, вручив мне мой собственный, поцеловала в лоб, и отпустила с миром. Придя к себе во двор, я первым делом отнес домой бидон с молоком, а потом нашел Синяка, и жестоко избил его. Синяк был худой, весь изъеденный своей страшной болезнью, и настолько синюшный, что на него невозможно было смотреть. Он лежал на земле весь избитый, и на его тонких черных губах выступали радужные кровавые пузыри. Плачущая Доротея что-то кричала мне, обнимая избитого умирающего Синяка, а потом припала к нему, обняв своими тонкими золотушными руками, и затихла, решив, очевидно, умереть вместе с ним. Мне, впрочем, было на это глубоко наплевать, я сделал свою мужскую работу, и знал, что сделал ее хорошо.

Вечером того же дня небо заволокли тучи, и началась страшная гроза, которую я на своем веку ни разу не видел. Ветер срывал крыши с домов, молнии били в стоящие на окрестных холмах столетние кипарисы, и они вспыхивали, как свечи, освещая ярким зловещим огнем вмиг погрузившийся во мрак город. Одна из молний ударила в молочную лавочку, где в этот момент находилась белокурая молочница, не успевшая из-за грозы уехать домой, и старое деревянное строение, которому было не меньше ста лет, вспыхнуло, словно куча сухого пороха. Моя возлюбленная погибла мгновенно, и вознеслась на небеса, где среди белоснежных облаков, наполненных молоком, собранным на тучных лугах, поила уставших от земных трудов белоснежных ангелов. От самой же лавочки не осталось ничего, кроме двух - трех продолжавших дымить головешек, да нескольких обожженных огнем молочных бидонов. Я узнал об этом только лишь на следующее утро из разговоров обитателей нашего двора, и сразу же бросился за ограду, заранее зная, что осиротел навеки, и больше жить на этом свете мне незачем. К этому времени кто-то из семьи молочницы приехал к сгоревшей лавочке, и забрал ее прах, а также обгоревшие, но все еще целые бидоны. Очевидцы, которые это видели, утверждали, что от молочницы не осталось ничего, и это еще сильнее убедило меня в мысли, что она совершенно целая и невредимая вознеслась на небеса, где в своем белом халате торгует молоком, только уже не земным, а небесным. Сначала я хотел броситься на продолжающие тлеть головешки, и сгореть вместе с ней, но подумал, что это было бы глупо, и, самое главное, ровным счетом ничего не решало. Поэтому я просто ушел на холмы, и до вечера сидел под одним из огромных, похожих на зеленые свечи кипарисов, глядя на море, покрытое бесчисленными барашками белой пены. Вечером я уснул на теплой земле у подножия кипариса, и проспал до утра, вернувшись домой уже засветло. Отец и мать даже не заметили моего отсутствия. Лишь только семилетняя сестра спросила, где я был, и я ответил, что уходил с ребятами на берег моря ловит рыбу. Сестра внимательно посмотрела на меня, и, улыбнувшись, ушла играть в свои бесконечные куклы. И ей, и мне не оставалось ничего иного, как терпеливо ждать, когда же мы повзрослеем.

Лето подходило к концу. В середине августа Синяк, с которым я успел помириться, таинственно поманил меня пальцем, и, отведя в сторону, сообщил, что они с Доротеей решили устроить тайную свадьбу.

- Понимаешь, Генерал, - прохрипел он, пуская почерневшими губами разноцветные пузыри, - мы с Доротеей давно любим друг друга, но родители ни за что не дадут согласия на наш брак. Поэтому мы решили пожениться тайно, на природе, подальше от нашего двора, и приглашаем на свадьбу своих лучших друзей. Ты согласен быть моим шафером?

- А кто такой шафер? – спросил я у Синяка.

- Это лучший друг жениха и невесты, держащий у них над головой свадебный венец, -

ответил он мне.

- Конечно же, я согласен, но где вы найдете такой венец?

- Он уже у нас есть, Доротея сплела его из свежих цветов, и чтобы он не завял, мы решили не затягивать с нашей свадьбой.

- Ты прав, Синяк, - согласился я с ним, с удивлением глядя на этого живого мертвеца, который говорил не о близкой смерти, а о своей близкой свадьбе. – Живые цветы слишком быстро вянут, и вам не следует затягивать со свадьбой. Два – три дня промедления, и Доротее придется плести новый венок.

- Нет, Генерал, - возразил мне Синяк, - Доротея не хочет плести новый венок, она полюбила именно этот, и чтобы он не успел завять, мы решили устроить свадьбу завтра утром.

- А кроме меня будут еще гости на вашей свадьбе?

- Это очень сложный вопрос, - ответил мне Синяк, - и мы долго думали, но так и не пришли к единому мнению. Лично я хотел бы позвать на свадьбу как можно больше народу, но Доротея против этого, потому что только ты умеешь хранить тайну.

- А что это за тайна? – спросил я у него.

- Понимаешь, - грустно улыбнулся совершенно черными губами Синяк, - мы с Доротеей пришли к мысли, что после нашей свадьбы мы должны умереть.

- Вы должны умереть после свадьбы, но почему?

- Посуди сам, - ответил мне этот синий инопланетянин, - какое будущее ожидает нас после всего? Я скоро умру, Доротея тоже не жилец на этом свете, поэтому будет лучше, если мы, насладившись любовью после свадьбы, умрем друг у друга в объятиях.

- И вы хотите, чтобы я при этом присутствовал?

- Да, и закрыл нам обоим глаза.

- А какой смертью вы хотите умереть друг у друга в объятиях?

- Мы примем яд.

- Вы примете яд?

- Да, мышьяк. От него дохнут даже матерые крысы, которых боятся кошки, что уж говорить о таких дохляках, как мы. Ну как, ты согласен?

- Да, Синяк, я согласен, - отвечал я ему.

На следующее утро была свадьба Синяка и Доротеи. Мы нашли у подножии одного из холмов, поднимающихся над нашим двором, укромную поляну, поросшую чистейшей изумрудной травой, сквозь которую пробивались к солнцу белые, красные и желтые головки цветов. Это был тот храм, в котором должно было состояться таинство обручения моих лучших друзей, и в котором я должен был играть роль священника. Впрочем, холмы над нашим двором и укромные поляны, покрытые коврами разноцветных цветов, давно уже были моим храмом, и я давно уже был в нем тайным священником. Я общался в нем с облаками, одинокими столетними кипарисами, маленькими зверьками, птицами, бабочками и стрекозами. И поэтому именно я должен был обручить Синяка и Доротею, потому что в обычной церкви, находящейся в городе, им из-за их возраста не позволили бы этого сделать. А атеисты – родители обоих не подпустили бы их к этому храму и на километр. Единственный храм, в котором на законных основаниях они могли навеки соединиться, был храм природы. Природа распахнула перед ними свое зеленое лоно, сочащееся жизнью, счастьем и светом, и позволила навеки соединить их руки и их сердца. Возможно, она позволила еще соединиться их душам, но в те времена о таких материях мы не догадывались. Доротея подала мне сплетенный ей три дня назад брачный венок, который был так свеж, и так ярок, как будто его сплели минуту назад. И это тоже было таинство, которое могло произойти только лишь в храме, и больше нигде. Ибо в это мгновение рядом с нами открылись врата вечности, и мы почувствовали своей кожей прикосновение ее благостных и трепетных губ.

Взяв из рук Доротеи священный брачный венец, я поднял его над головой их обоих, державших друг друга за руки, и сказал слова из какого-то иностранного фильма. Разумеется, я все несколько раз переврал и переиначил, но все же это были слова, сказанные искренне и торжественно:

- Соединяю ваши сердца и руки, дети мои, да будете вы мужем и женой, и да пребудут с вами любовь и счастье ныне и вовеки веков. А теперь обменяйтесь кольцами, и поцелуйте друг друга!

Синяк и Доротея обменялись заранее сплетенными из травы кольцами, а потом поцеловались, отчего у Синяка на губах выступила синяя пена пополам с кровью, и перепачкала Доретее все ее сияющее счастьем золотушное личико. После этого мы уселись на заранее припасенное покрывало, и начался свадебный пир, чудесней и искренней которого я потом ни разу в жизни не видел. Доротея пила молоко, а мы с Синяком вино, которое принесли из дома. Весь наш двор был увит виноградом, и в каждой семье изготовляли самодельное вино, так что незаметно отлить себе бутылку такого вина было проще простого. Предварительно Синяк открыл большую банку, которая была наглухо завинчена старой проржавевшей крышкой, и насыпал в стаканы себе и Доротеи несколько ложек мышьяку. Дозы этой было достаточно, чтобы убить лошадь.

Отрава по-разному подействовала на молодоженов. Доротея сразу же впала в подозрительную сонливость, и то теряла сознание, то вновь оживала, и вставляла невпопад какую-то фразу, а Синяк, наоборот, стал необыкновенно разговорчив.

- Скажи, Генерал, - спросил он у меня, - как ты считаешь, существует ли загробная жизнь?

- А почему ты спрашиваешь об этом? – ответил я ему.

- Понимаешь, было бы очень несправедливо, если бы мы с Доротеей уснули навеки, и после уже не воскресли нигде, ни в мире ином, ни в мире этом. Ведь если бы это случилось, то было бы напрасно все: и наша любовь, и наши страдания, и наши надежды на лучшее. Лично я все же считаю, что загробная жизнь существует, но просто мы ее не видим, потому что она настолько прекрасная, и так сильно отличается от нашей, что, увидев ее хотя бы один раз, мы бы сразу умерли от неожиданности и от страха.

- Ты говоришь, как философ, - сказал я ему.

- Поживи в такой синей шкуре, как я, поневоле станешь философом, - с грустной улыбкой ответил он.

- А тебе не жалко умирать, - спросил я у Синяка, - не жалко оставлять все это солнце, всю эту траву и всю эту жизнь, которая тебя окружает?

- Нет, - ответил он мне, - не жалко. Все это существует для таких, как ты, для нормальных и сильных, а для таких, как я и Доротея есть только лишь мир иной. Всю эту траву, все это солнце мы оставляем тебе, ты должен теперь жить и за себя, и за нас, и не посрамить наших надежд.

- Не сомневайся, Синяк, я не посрамлю ваших надежд, - успокоил я его, - и постараюсь прожить жизнь за всех нас троих.

- А кем бы ты хотел быть в жизни? – спросил он.

- Не знаю еще, но иногда мне кажется, что я бы хотел быть писателем. Понимаешь, ведь должен же кто-нибудь описать то, что произошло с нами, описать так, чтобы люди поверили в это, и не забыли уже никогда.

- Тогда благословляю тебя на писательский труд и писательский подвиг, - ответил он мне, и, высоко поняв над головой свой стакан с отравой, осушил его затем до самого дна.

- Беседуете, мальчики? – неожиданно спросила очнувшаяся от сна Доротея, виновато улыбнулась, а потом опять упала на землю. Я хотел ответить на слова Синяка о писательском труде и писательском подвиге, повернулся в его сторону, и увидел, что он уже мертв. Он лежал на зеленой траве такой легкий и такой синий, как будто это небесная легкость и небесная синь снизошли на него, и наполнили целиком его немощное тело и его душу несостоявшегося философа. Острое чувство жалости к нему переполнило меня до краев, из глаз полились слезы, и я решил, что тоже должен насыпать в свой стакан с вином мышьяка, и присоединиться в мире ином к моим мертвым друзьям. Но в этот момент Доротея опять очнулась от сна, и, оглядев с удивлением меня и мертвого Синяка, внезапно припала к нему, обняв руками, а потом опять потеряла сознание. Я поставил на землю свой стакан с вином, в который так и не успел подмешать отраву, встал на ноги, поднял на руки Доротею, и стал спускаться с холма по направлению к нашему двору. Навстречу нам уже спешили все его обитатели, впереди которых находился директор хлебозавода. Он принял от меня на руки полумертвую Доротею, которая, кстати, тоже почти ничего не весила, и бережно понес ее домой. Я сказал отцу, что Доротея отравилась мышьяком, но ни в какие подробности пускаться не стал, сколько меня не спрашивали и не угрожали разными карами. Но Доротея в больнице бредила, и вся история с обручением ее и Синяка все равно вышла наружу. По мнению общественности, как нашего двора, так и всего города, главную негативную роль во всей этой истории играл именно я. Вина моя осложнялась еще и тем, что в деле фигурировала религия. Ибо я взял на себя роль священника, и провел обряд бракосочетания в некоем не то выдуманном мной, не то преступно созданном своими руками храме природы. Меня хотели выгнать из школы, но тут вмешался всесильный директор хлебозавода, который был благодарен мне за то, что я вынес на руках полумертвую Доротею, а также за то, что сказал, чем она отравилась. За меня, помимо всего, просила у него и сама Доротея, а отказать любимой дочери директор хлебозавода не мог. Поэтому меня просто выставили на позор перед всей школой, и долго сладострастно перечисляли все мои преступления, которых бы хватило на банду отъявленных мошенников. В итоге я проучился еще год, дожив до шестнадцати лет, и с каждым днем понимая все больше и больше, что если я не покину этот двор и этот город, то мне не останется ничего иного, как самому отравиться мышьяком. Банка с которым, плотно завинченная железной крышкой, до сих пор лежала в траве на месте чудесного обручения Синяка и Доротеи. Кстати, по поводу не менее чудесного воскрешения Доротеи. Мать, которая все же была детским врачом, сказала, что Доротею спасло то, что она пила не вино, а молоко. Молоко послужило противоядием, и мышьяк, наповал убивающий огромных крыс, не смог убить эту хрупкую золотушную девочку. После того, как Доротею выписали из больницы, мы сходили с ней на старое городское кладбище, где был похоронен Синяк, успевший прожить на этом свете чуть больше шестнадцати лет. Доротея рыдала, как убитая горем вдова, и все порывалась броситься на скромный могильный холмик, а я вел себя мужественно и крепко держал ее за руку.

В начале осени стало ясно, что Доротея беременна. Она еще пару месяцев походила в школу, но держать золотушное создание с жидкими волосами, тонкими птичьими ладошками и большим выпирающим животом в школе было нельзя. За ней толпами ходили ученики младших классов, а те, что постарше, постоянно задрали ее и обзывали обидными словами. Мне пришлось даже несколько раз драться из-за этого, но положение в школе у меня самого было незавидное. Кончилось тем, что Доротея ушла из школы, и догуливала свою беременность во дворе, где к ней относились не так жестоко. Хотя и здесь за ее спиной говорили всякие гадости и делались на ее счет различные неутешительные прогнозы. Мать, к примеру, не раз говорила отцу, что лучше бы Доротея пила во время шутовской свадьбы не молоко, а вино, потому что теперь с ребенком она никому не нужна. Разве что своему отцу – директору, у которого, по слухам, на работе были крупные неприятности. Тем не менее, Доротея благополучно отгуляла во дворе весь положенный ей девятимесячный срок, и родила вполне здорового и довольно крупного мальчика. Дворовые кумушки специально ходили смотреть, не синий ли он, как его покойный отец, но ребенок был вполне нормальный, и никакой синевы в нем не было и в помине. Мать, будучи детским врачом, тоже осматривала сына Синяка, и, придя домой, заявила, что будущее человечества зависит не от мужчин, а от женщин, рожающих нормальных детей даже от последних и законченных доходяг. Отец по привычке стал ей возражать, но меня их перебранки уже не волновали. Меня волновала Доротея, которая из золотушной и невзрачной девочки как-то быстро превратилась в необыкновенно красивую и уверенную в себе женщину. В ней теперь не было и намека на былую золотушность, худобу и жидкие рыжие волосы. Куриные птичьи лапки ее превратились в белые изящные руки, которыми она постоянно, как бы невзначай, касалась меня, а волосы хоть и остались рыжими, но напоминали теперь роскошную львиную гриву, которой могли бы позавидовать красавицы с обложек глянцевых модных журналов, иногда доходивших в наш городок. Произошедшая с Доротеей метаморфоза, безусловно, была настоящим чудом, и никак иначе, как чудом, никто в городе это не называл. Мать говорила отцу, что будущее Доротеи теперь обеспечено, что ее возьмут замуж даже с ребенком, и что, по слухам, ей тайно, через посредников, делал предложение сам директор местного кладбища. Не знаю, правдивы ли были эти слухи, но что касается кладбища, то мы с Доротеей ходили туда не раз, и долго стояли рядом с могилой Синяка, держась за руки, и ничего не говоря, а только лишь слушая окружающую нас вечность. Я знал, что Синяк, наблюдающий за нами с небес, наверняка одобрил бы наш с ней союз, и мысль об этом всегда приводила меня в состояние крайней растерянности. Я чувствовал, что с каждым днем все больше влюбляюсь в Доротею, но одновременно с этим я не мог изменить своей прекрасной молочнице. Которая, несмотря на платоническую влюбленность, все же была моей первой женщиной. И поэтому в одно прекрасное утро я просто исчез из нашего двора и нашего города, и не появлялся там долгие годы. Я знал, что у Доротеи все теперь будет хорошо, а что касается моей собственной судьбы, то здесь все было гораздо сложнее.

2007